

Время Короленко. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Время Короленко. Максим Горький

...Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю, – в этот год я призывался в солдаты.

Часть пути – по ночам – ехал с кондукторами товарных поездов на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб, по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани – по Оке – свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому, – Софья Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия, вообще, изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душой, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены, – очень красивое время года, но несколько неудобно для путешествия пешком, а особенно – в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я, почему-то, не понравился и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, – человечешко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, – возложил на меня обязанность кормить спутников моих, на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

– Угощай.

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах "Песнь старого дуба".

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще – в то время – чувствовал себя малограмотным – но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь. Я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой и нелегкой жизни. Я был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, что правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взиграет честная, чистая, веселая жизнь – кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной, Николай Елпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно упорно задумался над чем-то.

– Может быть, и так, – говорил он, выбивая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

– А может быть, и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение – мне казалось, что этот полужамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это – и моя сердечная симпатия к нему – внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, – где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

- В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова. Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке светлые шерстинки разной длины, на угловатом черепе - прямые давно невымытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо сложенного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался, - над головою его была открыта форточка, в комнату вривался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

- Допустимо, но - я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слышать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку.

- Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое "не знаю" - можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта - я и Анатолий - отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными, больше чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

- Так - вот. Я должен итти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали междоусобную брань, - обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонии в Симбирской губернии, - быструю гибель этой затеи он описал в рассказе "Борская колония".

- Попробуйте и вы "сесть на землю", - советовал он мне. - Может быть, это подойдет вам?

Но убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников "толстовства" М. Новоселова, организатора Тверской и Смоленской артелей, а затем - сотрудника "Православного Обозрения" и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал "культуру", - что мне очень не понравилось, - культура - та область, куда я

Время Короленко. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания "Пантеон Литературы"; умный, широко образованный старик, целый вечер сокрушительно высмеивал "толстовство", которым я, в ту пору, несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал "Сон Макара", - рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаз в сторону:

- Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, - а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желаний познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, - одна из забавных шуток странной русской жизни.

Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое - из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как печальное изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит всхрипывая:

- Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите. Хорошие стихи - приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет "хорошие" относится именно к моим стихам. Но в то же время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в "толстых" журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне - я не расслышал.

Только сказала ты нежное что-то...

Он сердито зафыркал:

- Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал, - грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но - симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его - талантливая пианистка, а сам он - морфинист. Он был организатором и председателем "Технического Общества" в Нижнем, оспаривал, на заседаниях этого общества, значение кустарных промыслов и открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиной его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебаstra весом пуда в два. На косяках окон в клетках прыгали чижи, щеглята, снigiри, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке "Теория электричества" и томик Сеченова "Рефлексы головного мозга".

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напiтан морфием.

- Какой вы революционер? - брюзгливо говорил он. - Вы - не еврей, не поляк. Вот, - вы пишете, ну, что же? Вот, когда я выпущу вас, - покажите ваши рукописи Короленко, - знакомы с ним? Нет? Это - серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, - в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

- Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, заговорил:

- Это - медали в память исторических событий и лиц. Вот взятие Бастилии, а это - в память победы Нельсона под Абукиром, - историю Франции знаете? Это - объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани смотрите, как прекрасно сделано. Это - Кювье, - значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенснэ, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

- Прекрасное искусство, - ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружечков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв - со вздохом - витрину, он спросил меня: люблю ли я певчих птиц? Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил сожалительно чмокая:

- Вот, знаете, не могу достать шура! - Замечательная птица! И, вообще, - птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с Богом... Да, вспомнил он, - вам учиться надо, ну, там - писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

- Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И - не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И - вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

- А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

- Вы помните генерала Познанского? - Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, - следил за вашими успехами в литературе и,

Время Короленко. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, – конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

– Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом – расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Не задолго до призыва я познакомился с офицером-топографом – Паскиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весной должен был отправиться на Памир, работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом, – маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то не слаженное, противоречивое, то, что именуют "ненормальным". Он уговаривал меня:

– Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле – пустыню. Горы, – это хаос, пустыня гармония!

И прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайних песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

– Ничего не значит, – сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, – я вам все устрою.

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

– Оказывается, – вы политически неблагонадежны; тут ничего нельзя сделать.

И, опустив глаза, он тихо добавил:

– Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство!

Я сказал, что для меня это "обстоятельство" тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в Московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекачивал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, – я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов – в пышных шапках снега, скворешни – в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, – по колени – плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

– Вам кого?

- Короленко.

- Это я.

Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения, причины визита, потом прищурился, вспоминая.

- Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

- Не холодно вам? Очень легко одеты.

И - не громко, как будто беседа сам с собою:

- Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь? В Вятке? Ага...

В маленькой, угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

- Почитаем! Странный у вас почерк, с виду - простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня - мне было неловко.

- Тут у вас написано - "зизгаг", это... очевидно, описка, такого слова нет, есть - зигзаг...

Маленькая пауза перед словом "описка" дала мне понять, что В. Г. Короленко - человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

- Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, - да? Вы жили с ним в это время?

Он говорил и перелистывал рукопись.

- Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил, между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

- Какое суровое лицо у вас! - неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: - Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубоватого окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

- Вы часто допускаете грубые слова, - должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это - бывает.

Я сказал, что - знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

- Вы пишете: "Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так"... Раз - так, - не годится. Это - неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, - вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит "орлом" на развалинах храма.

- Место мало подходящее для такой позы и она не столько величественна, как неприлична, - сказал Короленко улыбаясь. Вот он нашел еще "описку", еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского; это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного - бежать от срама... Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, автором тяжеловесных рассказов, который говорил мне:

- Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человеческие слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов, и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство - не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но - ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Дрягин - милый и умный - принес мне рукопись и сообщил:

- Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, - но - надо писать с натуры, не философствуя. Потом - у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но - это хорошо! А о стихах он сказал - это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

"По "Песне" трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор."

О содержании рукописи - ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено "Голос из горы идущему вверх", другое "Беседа чорта с колесом". Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, - кажется, о "круговращении" жизни, - не помню, что именно говорил "голос из горы". Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: - что значит писать о "пережитом"?

Все, написанное в поэме, я пережил...

И - стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т.Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали - в лучшем случае - только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком, солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о запросах народа и обязанностях интеллигенции, о гнилой заразе капитализма, который никогда - никогда! - не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И - вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем – почти два года – ничего не писал. А – иногда – очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-"радикалов", среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был Н. Н. Златовратский, о нем говорили: "Златовратский очищает душу и возвышает ее".

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

- Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко.

- Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него "неопределенная тенденция".

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

- Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал "Сон Макара" это, разумеется, очень выдвигало его. Но – в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

- От ума пишет, – говорили о нем – от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ "Ночью", в нем заметили уклон автора в сторону "метафизики", а это было преступно. Даже кто-то из кружка В.Г. – кажется Л.И. Богданович – написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

- Ч-чепуха! – немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но однако довольно влиятельный среди молодежи. – Оп-писание физиологического акта рождения, – дело специальной литературы и тараканы тут не при чем. Он п-подражает Толстому, этот К-короленко...

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

- Ищет популярности, – говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта, весьма обычная, история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный "лев и пожиратель сердец" умер в тюрьме; его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее; один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, – был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В.Г. печатал в "Волжском Вестнике" статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко "убивает людей корреспонденциями", а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что "в мире нет явлений, которые могут быть чужды художнику".

Известно, что клевета всего проще и дешевле, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к

Время Короленко. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, - В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале Земского собрания, за крестным ходом, всюду, нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; "барин от революции" А. И. Иванчин-Писарев, А. А. Савельев, председатель земской управы Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех, какие мне известны; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержащую всего два слова: "Требуите конституцию".

Кружок Короленко шутивно наименовался "Обществом трезвых философов", иногда члены кружка читали интересные рефераты, - я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о "новой поэзии", - каковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского... К "трезвым" "философам" примыкали земские статистики Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни, - каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного Каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, - обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

- Он бы это дело сварганил, - да Короленки боится. Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племян, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, - на губернатора-то не надеются. Короленко этот уж подсек дворян - слышал?!

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в Бога и уверенно ожидал в близком будущем конца "всякой лже".

- Ты, мил-друг, не тоскуй, - скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест.

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синевя, горели и сияли великой радостью - казалось, что вот сейчас расправятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу, помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

- Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

- Что ты, Пимен?

- А видишь, мил-друг - сей минут божья думка душе моей коснулась, скоро, значит, Господь позовет меня на его работу...

- Полно-ка, ты такой здоровяга.

- Молчок! - сказал он важно и радостно. - Не говори - знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая можно сказать, что десятилетие 86 – 96 было для Нижнего "эпохой Короленко" – впрочем, это уже не однажды было сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, "неосторожный" банкрот, а в конце дней – убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 901 году:

– Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь; "во время Короленки" ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

– Хворал я, лежу, – рассказывал он мне, – приходит племянник Семен, тот – знаешь? – в ссылке который, – он тогда студент был, – желаете, говорит, книжку почитаю? И, вот, братец ты мой, прочитал он "Сон Макаров", я даже заплакал, до того хорошо. Ведь как человек человека пожалеть может. С этого часа и повернуло меня. Позвал кума-приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, прочитай-ко. Тот прочитал, – богохульство – говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, – разругались навсегда. А у него – векселя мои были, и начал он меня подсиживать. Ну – мне, уж, все равно, дела я свои забросил, – душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу – думаю: будет дурить. Выпустили из острога, – я, сейчас, к нему, Короленке, – учи. А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому... "Вот как", – говорю. "Очень хорошо, – говорит, – вполне правильно". Так-то брат! А Горинов откуда ума достал. Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит.

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими, иногда, путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. – Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию "защитника законности" копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, – Зарубин обжаловал действие полиции, в двух судебных инстанциях жалобу признали "неосновательной", – тогда старик поехал в Петербург, в Сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний, и принес указ в редакцию "Нижегородского Листка", предлагая опубликовать. Но, по распоряжению губернатора, цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

– Ты, – он всем говорил "ты", – ты, что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом "Общества трезвости", с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городских и называл свою деятельность "преследованием правды".

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, Зарубин подошел и спросил:

– Что случилось?

– Ивана Кронштадтского ждут.

– Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели, – какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

– Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович.

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством и хотя некоторые называли "фокусником", но – большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, – все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 901 году меня посадили в тюрьму, – Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, – пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

– Вы – родственник арестованного? – спросил прокурор.

– И не видал никогда, не знаю – каков!

– Вы не имеете права на свидание.

– А – ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете? Но у прокурора было свое Евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех – нередких – русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, – когда терять уже нечего становятся "праволюбями", являясь в сущности только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу, – да и по результатам слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец, и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту он пожаловался мне:

– Не умен, не силен, не догадлив народ, мы, купечество, еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, – земщики эти ваши, земцы, Короленки – пастыри. Короленко – особо неприятный господин; с виду простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весной 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время – почти три года значение В.Г.Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору, Баранову, "влияние на деятельность земства", – все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга "Голодный год".

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека.

– Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное "Армии спасения", или "Красного креста", – вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он, наверняка, израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, – это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее – равной.

– А что вы думаете о его литературном таланте?

– Думаю, что он не уверен в его силе и – напрасно. Он – типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя, как художника, хотя именно его качества реформатора должны были – в соединении с талантом – дать ему больше уверенности и смелости, в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором, между прочим, а не прежде всего...

Это говорил один из героев романа Боборыкина "На ущербе", – человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно тем ценно было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89 – 90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо – как уже сказано решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня –

Время Короленко. Максим Горький gorkiymaxim.ru

я хорошо видел это – начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, – на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

– Почему вы спокойны?

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая "История социальных систем" Щеглова, "Капитал", книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже "Ученик", Сенкевича "Без догмата", повесть Дедлова "Сашенька" и рассказы о "новых людях", – новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя "обязанности интеллигенции" решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А.Ф.Троицкий, – впоследствии врач во Франции, в Орлеане – человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

– Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм – банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития – от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать – наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилён, не может гармонизировать всю сумму, – весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились "материалистами" в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало, приблизительно, так просто:

– Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, – значит: дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою и все чаще – молодежь грубовато высмеивала "хранителей заветов героической эпохи". Мои симпатии были на стороне именно этих "хранителей", людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении "народом", – объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикоэкономическое, но меня увлекал их романтизм – точное – социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают "народ" слишком нежными красками, я знал, что "народа", о котором они говорят – нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, торопливо налаживая сытую, законно-зверьячую жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более островраждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убежать или удаляться изувеченной, – в этом кипении идеи я не находил ничего "по душе" для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминал жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда и м удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, – "закатить" ему "под душу". Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа,

Время Короленко. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; - как небрежно груженое судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался - как многие - говорить суровым басом, это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унижительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди чужие в своей родной стране, они окружены средой, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, "идиотических" мелочей жизни.

Мне было снова не ясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой и особенно равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным - добрым, бескорыстным, красивым - до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека - человеком. Но - все-таки я был душевно голоден и одуряющий яд книг не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и, порою, я кричал:

- Шире бери!

- Держи карман шире! - иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на "Откосе", высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев - реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

- Однако, как вы замечались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

- Поздно гуляете, - сказал он.

- И вы тоже.

- Да. Следовало сказать: гуляем. Как живете? что делаете?

После нескольких незначительных фраз, он спросил:

- Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П.Н.Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме "капитала", и гордился этим. Года за два до издания "Критических заметок" П. Б. Струве, он читал в гостининой адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но хорошо помню - более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек "не от мира сего". Аскет, он зиму и лето гулял в летнем легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и, при этом, еще заботился о "сокращении потребностей" - питался, в течение нескольких недель, одним сахаром, съедая его по две осьмых фунта в день, не больше и не меньше. Этот опыт "рационального

Время Короленко. Максим Горький gorkiymaxim.ru
питания" вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небывалого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину, в полноте недоступную никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, – он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табунах студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, – существом редкой красоты. Скворцов, соревнуясь юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый в облаке душного серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

– Еще Сократ говорил, что развлечения – вредны, – неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, – вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

– Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?

Он доказал ей, что Короленко – вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература – он ее не читал – "пытается гальванизировать гнилой труп народничества". Доказал и, наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении – и, конечно, красиво бросилась на диван, возгласив жалобно:

– Господи, это же не человек, а – дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурился глазами и негромко, дружески заговорил:

– Не спешите выбрать верования, я говорю – выбрать, потому что мне кажется теперь их не вырабатывают, а именно – выбирают. Вот, быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой... Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает паропроводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что "жизнь складывается из бесчисленных, странно спутанных кривых" и что "крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений".

– Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, – сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но – по существу, все, что он говорил о марксизме было уже – в других словах знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А – почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился – так ему было удобнее смотреть в лицо мне и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

- В этом не мало верного. Вы наблюдаете хорошо.

И - усмехнулся, положив руку на плечо мне.

- Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И, как-то особенно крепко, он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

- Это - дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, - а прежде всего, конечно, в тюрьму, - все это - самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

- Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее - это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и этим сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, - но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда, для того чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. - А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, - обращайтесь больше внимания на достоинства. Подсчет недостатков увлекают всех нас, - это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, - однако он сделал великое дело - выступил защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, это великий подвиг. Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима - справедливость. Когда она, накопляясь понемногу маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя - вносите в жизнь справедливость, - вот как я думаю.

Он, видимо, устал, - он говорил очень долго, - сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

- А ведь уже поздно или - рано, - светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он - версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

- Что же, пишете вы?

- Нет.

- Почему?

- Времени не имею...

- Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю - кажется, у вас есть способности... Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но - вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, - разошлись...

¹ Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как "аглицком королевиче" суть "интеллигентная легенда". В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем-Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в нижегородском

Время Короленко. Максим Горький gorkiymaxim.ru
краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника. (Прим.
автора.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!